ческая и полемическая стороны здесь доведены до предела, что дало возможность автору широко развернуть свое творчество, отказавшись от компиляции, отмеченной нами в первой части Повести. Конечно, и здесь использованы многие приемы, образы и штампы агиографической литературы — различные „чудеса", „гласы", „видения", но все это тесно переплетено с элементами собственного творчества автора Повести. Последние, несомненно отразившие мировоззрение составителя Повести, подчас просто поражают своей реалистичностью, разительно контрастирующей с общим безудержно фантастическим фоном повествования. Таковы, например, картины бури и кораблекрушения, написанные не только весьма реалистически, но и со знанием технологии кораблестроения того времени: корабль не просто сгорает от удара молнии, а сначала растопляется и загорается „смола корабленая", образуется течь, корабль разламывается на части, и все вместе взятое приводит судно к гибели; чудесно шествующие „по водам" святые (избитый, старый, еще евангельский образ) вовсе не „чудесно", а просто, „по-человечески" спасают Иеремию; отыскав веревку — остаток снастей погибшего корабля — они привязывают ее „за конец дски" и приволакивают доску к берегу. Узнав о спасении клобука, папа с досады рвет и кусает свою бороду. Число подобных примеров можно было бы увеличить, но нам кажется, что уже и сказанного достаточно, чтобы доказать наличие несомненно реалистических черт в описании всех этих фантастических событий. Необходимо также отметить и то, что количество реалистических деталей и подробностей возрастает в местах наивысшего полемического подъема. Особенно показательно в этом отношении описание болезни и смерти римского папы, где дана прямо клинически точная картина течения одной из венерических болезней. Причина этой ужасной болезни и смерти указана автором Повести кратко, но совершенно определенно: „Толико бо поганый он папа не любяше Русския земли, но и слышати не терпяше".

Следующая, третья часть Повести, рассказывающая о пребывании клобука в Царьграде, также начинается упоминанием исторической личности — патриарха Филофея.[1]

Немного позднее появляется другая историческая личность — византийский император Иоанн Кантакузен (1341—1355). Эти два исторические лица делают фон изложения третьей части Повести более конкретно-историческим, чем во второй части, где налицо значительная путаница исторических имен и событий. Автор Повести совершенно определенно вводит нас в XIV век, в то время как события второй

[1] Филофей занимал кафедру дважды: с 1354 по 1355 и с 1362 по 1376 год. Имя патриарха во второй пространной редакции — „Увеналий" — является загадкой, так как в списке константинопольских патриархов оно не встречается. Носил это имя лишь один из иерусалимских патриархов (420—458), участник третьего и четвертого соборов, добившийся после долгой борьбы с александрийским и антиохийским патриархами значительного возвышения иерусалимской кафедры (Сергий. Полный месяцеслов Востока. Владимир, т. II. Заметки. 1901, стр. 250—251). Таким образом имя этого патриарха во второй пространной редакции является анахронизмом (архиепископ Василий жил через 900 лет после Ювеналия), что наводит на мысль о том, нет ли здесь просто ошибки писца, повторенной переписчиками и таким образом укоренившейся. Обнаружить примеры подобных искажений переписчиками личных имен не представляет особого труда. Например, тот же „Увеналий" в трех имеющихся в нашем распоряжении списках краткой редакции Повести претерпел следующие изменения. В списке ГПБ, Погод. 1600 и списке ГИМ, Муз. 2166 фраза „в Констянтинеграде бе патриарх Увеналий, муж добродетелен" читается так: „В Констянтинеграде бе патриарх, а велико уже муж добродетелен", в списке БиЛ, Рум. 45: „...патриарх сей велико уже муж добродетелен", а в списке ГИМ, Муз. 581 вместо „Увеналий" написано „уведал".